

## НА СТАРЫХ СПЕКТАКЛЯХ



**З** А КАКУЮ ниточку не потянешь — не знаешь, что вытянешь. Потянешь хотя бы за ту, что прикреплена к любимой Таганке — и что же? В апреле 94-го театру было бы тридцать, и все, кто его знает, а кто его не знает? уже теперь жили бы в предчувствии праздника, который он устроил бы для своих зрителей.

«Было бы», «устроил бы», но двери театра закрыты, спектаклей нет, и будут ли — неизвестно.

Праздник, однако, судя по всему, состоится, но не в Москве, в Париже, где 17 января Любимовцы сыграют то, что буквально на днях репетировали на своей старой сцене. Дома они, наверное, показали бы иной вариант представления — Любимов не пришлось бы ни длинно, ни коротко рассказывать сидящим в зале историю своего детства, — но Париж — не Москва, и то, что знаем мы, о «предприятии, которое четверть века определяло дух русской сцены», они не знают, да и не обязаны знать.

Понимая это, смирившись с этим, Любимов набросал текст, который, меняя на ходу, произносит, расположившись, как и все исполнители, на сцене.

Во время рассказа мы услышим, что он в... старался разрабатывать в спектакле несколько партитур. Музыкальную, световую, пластическую, психологическую. Одна из этих партитур — музыкальная — и стала отправной точкой и опорой представления, которое увидят во Франции.

Не надо иметь голоса, да и слуха особого тоже не надо иметь, чтобы припомнить и пропеть хотя бы про себя один, два, три мотива из таганковских спектаклей. Из любых — из последних и из первого — «Доброго человека из Сезуана», зонги которого поразили в момент их исполнения буквально всех и буквально всем. Тем, в первую очередь, что пришлишь нашему спектаклю так же в пору, как

спектаклям самого Брехта, которые москвичи к тому времени уже видели и имели возможность понять, что есть зонг, а что — вставной вокальный номер.

Зонг из «Доброго человека...» программу вечера как раз открывает. Отзвучат слова Любимова, актеры склонят голову перед портретом Брехта и, опустившись на площадку, заложат. Петь им, однако, придется недолго. «Для того, чтобы отдать — надо иметь. У вас тусклый глаз, вы не заражаетесь силой Шалаяпина».

Почему упомянут Шалаяпин, снажем позже, а сейчас о том, что Любимов — вполне прежний Любимов, если иметь в виду его требовательность, неутомимость, характер его замечаний, «посторонние» разговоры, которые то

## Этого мы добивались?

и дело возникают. Одна фраза услышалась со сцены вполне отчетливо: «Почему они не в состоянии нас понять? Потому что мы действуем бессмысленно».

Это «бессмысленно» попало прямо в точку. Отвечало всему, что неизменно приходило в голову, когда велись разговоры о судьбе Таганки, и приобрело особую, чуть ли не мучительную остроту теперь, на предотъездных репетициях, когда музыкальная партитура воскрешала в памяти сделанное театром.

Когда голоса Высоцкого и Золотухина, один — рвущийся из динамика, другой — со сцены, поют «Затоги ты мне банку по-черному», как, снажете, в эту минуту можно смириться с тем, что едва ли не самый произвольный спектакль нашего времени, рожденный и одушевленный благородным порывом — памятью об ушедшем, данью ему, может перестать существовать? Про него ведь не снажешь — устарел, кому он теперь нужен или что-нибудь столь же фальшивое — самый лукавый язык от этих слов онемевает, а между тем... Между тем «остались пересуды, а нас на свете нет».

Человек двадцать, или около того, выстроившись на сцене в круг, занимают разминкой минут десять, а то и больше, а потом с хрипом начинают петь. Это особое пение, не пение даже, а музыкальный гул, который нарастает, нарастает, чтобы вдруг прерваться выкриком Золотухина: «А-эх, да, растворите мне темницу, дайте мне сияние ярко-белова дня...».

Пройдет еще какое-то время и, страшно просветлев в воздухе, в пол вонзится царский посох, и судьба Бориса, судьба народа, скрученная в кровавый, тугой узел, предстанет перед зрителями. Предстанет как предвиденье гения, угадавшего и нашу судьбу, только уроку этому будем теперь внимать не мы. Ему тоже будут внимать во Франции.

Этого мы добивались, это нам было необходимо?

Думаю, что большинство тех, кто раздвигал широк вокруг конфликта на Таганке, раздвигали его скорее из «потехи», не представляя реально, во что эта потеха может вылиться, как отразится на многих судьбах. Писали, напав на вышурванный сюжет, оттачивали перья, не столько изыскивая истины, сколько щеголяя друг перед другом «осведомленностью». Кто, где и что сказал. Раздвиг же пожарщик, в дым которого все приобрело самые фантастические очертания, отошел в сторону. «Все, что происходит на Таганке теперь, — стены, ОМОН, отключение света, суды и пересуды — это, в сущности, жизнь после жизни, которая происходит в полном и зловещем общественном безмолвии». (А. Смелюнский).

А Шалаяпин спел «Дубинушку», под которую участники вечера, подхватив ее припев, выйдут на сцену и начнут юбилейное представление.

Натэла ЛОРДКИПАНИДЗЕ.

Экран и жизнь -  
1944. - 6-13 янв. - с. 7